

«Фауст умер, оставьте меня в покое»

Владимиру Одоевскому — 200 лет

дата литература

Дата рождения Владимира Одоевского известна точно —

13 августа, а вот год — материя более туманная: более вероятно 1803-й, но, по другим версиям, это мог бы быть и 1802-й, и 1804-й. Что вполне отвечает и неясному амплу героя — то ли писателя, то ли философа, считает СЕРГЕЙ ХОДНЕВ.

Для человека столь недалекой от нас эпохи, от которого вообще-то осталась масса документов, это обескураживающая черточка биографии. Дальше начинаются уже твердые факты. Отец из Рюриковичей (хотя и обедневших), умерший, когда будущему писателю было пять лет. Мать — бывшая крепостная, вышедшая второй раз замуж и сдавшая ребенка опекунам. Юность в пансионе при Московском университете, блистательные знакомства. И дальше — первая роль в сообществе одержимых философией молодых людей, которые именovali себя любомудрами.

Этот полукружок, полутайное общество, первая арена деятельности Одоевского, изумляет какой-то нервической вос-

торженностью. Черпали для нее основания в основном у тогдашних властителей дум — прежде всего Шеллинга, затем Канта с Фихте и других. Восторги любомудров кажутся сейчас одновременно наивными и ходульными. «И новое солнце, восходя от страны древних Тевтонов, уже начинает лучами выпренного умозрения освещать бесконечную окружность познаний» — только так обо всем этом мог выражаться сам Одоевский.

Насчет солнца — это, правда, не совсем уместный образ. Одоевский не человек Просвещения, ему всегда было интересно не столько солнечное торжество разума, а высшая мудрость — «цельное знание», таинственный синтез науки и искусства, философии и поэзии. Тут уж скорее нужно не солнце, а ночной мрак, убежище «птицы Минервиной» (то есть совы). Не случайно одной из излюбленных «личин» князя Одоевского был Фауст — и личину эту он с опять-таки наивной старательностью отрабатывал образом поведения еще долго, украшая свой кабинет ретортами, колбами, черепами и прочим подобающим антуражем, а особо близ-

Коммерсантъ. — 2003 — 16 авг. — с. 9.



ких гостей-единомышленников привечая в черном бархатном кафтане. Личину гетевского персонажа он примерял в своем главном опусе — романе «Русские ночи», где лоскутность бесконечного количества вставных новелл компенсируется только единством рассказчика: все «Ночи» объединены диалогами главных героев, которыми верховодит некто Фауст.

С личностью и повседневной жизнью князя Владимира Федоровича Одоевского этот маскарад имел не много общего. Особенно после того, как писатель уехал из Москвы в Петербург, поступил на службу и обзавелся женой. Блистатель-

ный салон его супруги, урожденной Ланской, и прочие петербургские арены светской жизни давали не так много возможностей для «эзотерического» позерства. Да еще служебная рутина — вряд ли очень увлекательная работа в комитете иностранной цензуры при Министерстве иностранных дел (сам Одоевский рисовался ужасами своих трудовых будней, рассказывая, что ему приходилось ведать усовершенствованием рыбьего клея и кухонных печей).

Вряд ли его на самом деле так уж пугал рыбий клей. Одоевский принадлежал к таким людям, которым есть дело решительно до всего. Перечисление его жизненных планов, сделанное как-то раз, впечатляет: «Надобно вывести на свет те поэтические мысли, которые являются мне... надобно вывести те философские мысли, которые открыл я после долгих опытов и страданий; у народа нет книг, — и у нас нет своей музыки, своей архитектуры; медицина в целой Европе еще в детстве...» — и так далее. Тут не так много позерства, как кажется. Скажем, до архитектуры и

медицины у Одоевского руки не дошли, но вообще тематика его писаний чудовищно разнообразна. Сегодня он (будучи, по существу, зачинателем музыковедения в России) пишет пронациательные заметки о Берлиозе и Вагнере, а завтра — какую-то агротехнику и мелиорацию в журнал «Сельские записки». Философское пробуждение, которое в русском обществе началось с 1820-х годов и которое чуть позже привело к поляризации славянофилов и западников, в Одоевском обернулось совсем другой стороной: у него парадоксально мало размышлений о судьбах России, его волнуют, с одной стороны, совершенно конкретные вещи — та же агротехника, грамотность, на худой конец административные реформы. А с другой стороны — то самое «цельное знание», вроде бы общечеловеческое чаяние, которое на самом деле выглядит у Одоевского донкихотовским стремлением одной-единственной личности.

Видеть в Одоевском человека эпохи Возрождения, эдакого Леонардо да Винчи или Джордано Бруно (которому он действи-

тельно стремился подражать), несколько нелепо. Да, у него есть повесть «4438 год», где вроде бы предсказаны чудеса современной техники. Но он не был Жюлем Верном, в его прозе занимательность редко выходит на первый план, затеняя назидательность и иронию. (Иначе и «Городок в табакерке» можно признать поэтизацией часового механизма.) Со временем назидательность становилась у него все более приземленной, а ирония — все более ощутимой. «Фауст умер, Фауста больше нет», — в конце концов провозгласил Одоевский.

Учитывая то, что без личин жить этот человек не мог, остается предположить, что главной личиной после кончины Фауста остался другой литературный автопортрет Одоевского — некто Модест Гомозейко, аналог Ивана Белкина и Рудого Панько. В этом образе было уже не до бархатных кафтанов. Это, как описывает его сам Одоевский, человек, который тихо сидит в углу гостиной и внимательно наблюдает за присутствующими, и на лице его написано только одно: «Бога ради, оставьте меня в покое».